



Сергей Солоух

**Игра в ящик**

«WebKniga»

2011

**Солоух С.**

Игра в ящик / С. Солоух — «WebKniga», 2011

Три героя между трех гробов. Краткое содержание нового романа Сергея Солоуха формулируется как математическая задача. И это не удивительно, ведь все герои – сотрудники подмосковного НИИ начала восьмидесятых, на переходе от Брежнева к Горбачеву. Но ощущение вневременности происходящего всему действию придает смерть совсем иная, неосязаемая и невидимая, четвертая – неизбежный и одинаковый во все времена конец детства.

© Солоух С., 2011

© WebKniga, 2011

## Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
ЯЩИК	6
ПОЛОЧКИ	17
ПАПКА	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

## Сергей Солоух

### Игра в ящик

*“Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?” otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, “já znám dva Ferdinandy”.*

**Jaroslav Hašek**

*‘Do you say these things simply to depress me, Frank?’*

*‘No, Uncle, simply to cheer myself up.’*

**Evelyn Waugh**



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

0:0

### ЯЩИК

Легкое косоглазие, небольшой перекося черных пуговиц – признак настоящего математика. Природную общечеловеческую симметрию портит редкая способность к необыкновенной и долгой концентрации мысли. Полное и абсолютное погружение в предмет анализа. Ноги, как правило, не могут воспользоваться таким счастливым моментом неподотчетности, свободы от мелочной опеки головы, а вот глаза – всегда пожалуйста. Разъезжаются, правый на запад к уху, а левый... а левый вот ни черта. Пока сосед-черныш на той стороне переносицы ворует свои миллиметры и наслаждается потерей фокуса, левый все делает наоборот. Не просто холоден и неподвижен, а даже на быстрые изменения освещенности, смену света и тени, отказывается реагировать. Не хочет сжиматься и разжиматься. В зеленоватом колечке ореола стоит большой и черный в самом центре белого и ничего, совершенно ничего не видит.

Другое дело, стоила ли собственно картина зрительного усилия. За стеклом, прямо перед несвязанными, своевольными зрачками аспиранта Института проблем угля Романа Подцепы лежал в лучах ленивого августовского рассвета обыкновенный подмосковный город. Миляжково. Как и все ему подобные, вроде Орехово-Зуево или Подольска, что возникли в границах распространения паровозной сажи по обе стороны колеи восточных или южных императорских железных дорог во второй половине девятнадцатого века, Миляжково и в конце двадцатого оставалось маловразумительным придорожным образованием. Расположение и направление улиц определяли тут заборы складов, заводов и депо, а перспективу замыкали трубы котельных и теплоцентралей. И даже в полном надежд и нежности начале летнего шестого часа утра, с высоты девятого этажа из окна вычислительного центра ничего не удавалось высмотреть мерцающего, загадочного или манящего между быстро выступающими из миляжковских ночных глубин углами. Стенами из серого кирпича и крышами из серого шифера. Определенно, птичья дальнорукость в этом месте душу не возвышала и не грела. Но, впрочем, и человеческая близорукость с ее благородной вогнутостью линз не добавляла волшебных черт картине мира. Прямо под ногами Романа Романовича уныло расстилалась безжизненная и бесцветная в этот час территория Института проблем угля им. Б. Б. Подпрыгина. Уменьшенная копия породившего ее населенного пункта. К высокой ограде режимного института жались похожие на дровяные лабазы сараи послевоенных испытательных стендов. Чуть дальше, словно куски от ветхости распавшегося времени, на узкой площадке для металлолома уныло громоздились и друг в друга тыкались старозаветные забойные машины. Техника большого прорыва и шести условий. Огород Стаханова. И уже совсем рядом, в непосредственной близости от нового девятиэтажного длинным и кривоватым рукавом невидимого пальто растянулся старый, приземистый корпус экспериментального завода. Вместо пятерни, справа за асфальтовой лентой узкого внутриворотового проезда, один за всех тупо дырявил небо единственный упрямый палец. Труба котельной. Все это механическое, серое и черствое. Даже тени внештатных сторожевых дворняг, полночной комариной своры, хозяев институтского двора, и те как-то беззвучно рассосались в стильном растворе мертвого часа.

Зато на другой, одушевленной и освещенной стороне мира, за спиной Романа Романовича Подцепы черной живой тенью колыбался дежурный электронщик Слава Соловейкин. Правда, его отрывисто и часто дышавшее тело совершенно не гармонировало и не сочеталось с неподвижной фигурой аспиранта, примерзшего дозорным к витринному переплету круго-

вого остекления девятого этажа. В то время как Подцепа, весь обратившись в слух, отслеживал на раз-два-три-четыре связь между сглатыванием очередной перфокарты из быстро тающей колоды и скорой, как правило серийной, отрывкой печатающего устройства, Соловейкин за спиной Романа маялся, весь обратившись в шум и трепет, а также отчасти в свет, тепло и запах. Слава нарезал круги вокруг прямоугольной тумбы устройства для размножения все тех же самых перфокарт. Весьма солидного на вид шкафчика, крайне редко применявшегося по назначению, возможно в первую очередь из-за пугающего весь персонал ВЦ жуткого прозвища «бармалей». Однако в тусклом, серебряном шестом часу августовского утра этот грозный агрегат охотно служил всего лишь навсего подставкой для мелкого рыбацкого стаканчика, примерно на одну треть наполненного голубоватыми слезами штатного технического спирта. Денатурата. Слеза просилась прямо в Славу, и Славин глаз ее хотел, но сердце в организме трепетало, желудок поднимался к горлу, а пищевод стыдливо, но решительно перекрывал и вход, и выход. Ночная смена неумолимо шла к концу, все меньше шансов оставляя Соловейкину на человеческое ее завершение. С полным вытиранием из души и памяти всех мерзостей дежурных обид и унижений.

Между тем, вчера в теплом черничном морсике начала ночи к новому корпусу экспериментального завода, на девятом этаже которого располагался институтский вычислительный центр со всеми своими службами, от соразмерного машзалу участка приточно-климатической установки до сплюснутой со всех сторон унылой перфораторской, оба, и Слава Соловейкин, и Роман Романович Подцепа, шли в самом лучшем расположении духа, в предвкушении насыщенных и плодотворных восьми часов. С двадцати трех до семи ноль-ноль.

Сама по себе ночная смена уже была большой победой Романа Романовича. Очень приятного, несмотря даже на легкое ученое несхождение зрачков и общую косолапую, медвежью грацию, молодого человека, которого в его двадцать пять лет по имени-отчеству не звал решительно никто, кроме, может быть, самого Романа Романовича, да и то в веселую минуту и исключительно про себя. Ночная смена, на незатейливой машинке единой серии с четным номером, но нечетной суммой цифр – 1022, восемь часов безраздельного и непрерывного владения всеми ресурсами этого скромного аппарата, способного под DOS/ES, как барышня-крестьянка из повести в стихах, принадлежать и отдаваться одновременно лишь одному и больше никому, стоила месяца, а то и двух, расписанных, уложенных, расчесанных на тонкие проборчики часов или даже минут. Три волоска на лысине. «Сектор мат. методов. Подцепа. 13:45 – 14:30». И вот уже в 14:25, когда для счастья, ну или как минимум законченного результата расчета варианта нужен всего лишь таракан каких-то десяти или двенадцати минут, является угрюмый «Лаб. разрушения породы. Гитман. 14:30 – 16:00», чтобы ногами затоптать надежду в любой форме, а горбатой спиной буквально и натурально закрыть любую щелку между перфокартным и перфолентным вводом. Ровно в полчаса он кивнет головой, и дежурный оператор пустит ежа, отщелкает три заглавных буквы на желтой ленте «Консула» – End Of Job – и все, свободен, Роман Романович. Повесть с прологом на языке FORTRAN, с завязкой распределения памяти и параметрами запущенного варианта, но без эпилога псевдографики, точек и звездочек нагрузки на широких листах бумаги с аккуратными линейками круглых дырочек на месте правого и левого полей, можно забрать на память из широкой корзины АЦПУ – алфавитно-цифрового печатающего устройства. Ну или для дела. Что может быть лучше для черновиков, быстрых расчетов или рисунков вольного содержания, этих финских биатлонных просторов обратной стороны ненужной цэпэушной распечатки? В общаге, случалась, выпрашивали. Вещь. И Роман Подцепа отдавал. Он не был особенно жаден. Но вот ночной сменой ни с кем и никогда не поделился бы.

Уменьше выбить ночную – целое искусство. Служебную записку директору ИПУ им. Б. Б. Подпрыгина составлял сам Алексей Левенбук, правая рука профессора Прохорова, заведующего отделением, а заодно и научного руководителя Р. Р. Подцепы, – на вид неразговорчивый

и неулыбчивый кандидат технических наук с практически уже готовой докторской, которого в неполных тридцать пять все, кроме Прохорова, звали как безусловно старшего по званию, Алексеем Леопольдовичем. Несмотря на внешнюю угрюмость и замкнутость, это был весьма дельный, доброжелательный и в своем кругу понятный человек, с удивительной ловкостью и легкостью, казалось, часто вообще без слов, каким-то кивком, покашливанием или пожатием нужной руки решавший те самые назойливые оргвопросы, что так тяготили своей навязчивостью и неизбывностью профессора Михаила Васильевича Прохорова. Левенбук не только составил нужную служебную, но и договорился с упрямым и неотзывчивым начальником ВЦ. Этот мужчина по фамилии Студенич, который возбуждался только от вида заградительных сетей, да и то лишь двух типов – рыболовной или волейбольной, был главным и решительным противником какой бы то ни было сверхурочной работы вверенного ему подразделения.

– А отгулы дежурным из чьего кармана закрывать? – однообразно отбояривался этот крупночестный волейболист-рыбак всякий раз, когда на каком-нибудь совещании ученые мужи пытались его в очередной раз покусать за неуступчивость.

– Или тогда нам меньше разнарядку овощехранилища, – подумав, добавлял Студенич, таким нехитрым шантажом окончательно снимая вопрос с повестки дня.

И вот к этому простому и крепкому бойцу Левенбук зашел в кабинет и через десять минут вышел с ровной козьей приписочкой в нижнем левом углу служебной. «Не возражаю по личной договоренности со сменой. Студенич». Сиреновой пастой. Затем уже сам Роман недели две наведывался в приемную, покуда на этот раз в верхнем левом углу бумаги не появился размашистый, выполненный как будто бы даже не рукой, а веткой березы, что за окном, росчерк директора ИПУ академика Антона Васильевича Карпенко «Разрешить». Результаты Ромкиной работы, выражаясь языком ученых семинаров, безусловно лежали в русле научных изысканий Алексея Леопольдовича Левенбука. Но скромная статейка с парой подписей по алфавиту или параграф в очередной монографии, с расположением авторов на обложке согласно с правилами совсем другой последовательности, Прохоров – Левенбук, всех этих усилий определенно не стоили, так что подобное участие безо всяких оговорок могло считаться приятным знаком личного расположения Алексея Левенбука к Ромке Подцепе.

В конце второго, предпоследнего года аспирантуры очень приятно быть принятым в кругу коллег, особенно из числа старших крупнозвездных товарищей. Неприятно другое – давно и без особых надежд топтаться на месте. Через два дня в свои унылые права вступала осень, дождливая и тусклая пора в этих местах, официально отнесенных паспортно-учетными столами к территории особой кляксы на слабо пересеченной местности. ЛПЗ – лесопарковая зона города Москвы. Август уже плодил облака для водных процедур сентября, а Роман Подцепе лишь пачки бесконечных и бессмысленных распечаток незавершенных расчетов. Бумагу для записок. И делал это с конца марта. Сначала, конечно, это были ошибки логики. Собственной логики Романа Романовича. Верная идея, сформулированная наконец этой зимой и принятая Прохоровым на ура, никак не могла отлиться в четкий, работающий алгоритм. Но к началу июня Роман все-таки победил свою генетическую предрасположенность к интуитивному и самостоятельному – благоприобретенным упорством в изучении пособий и наставлений. Розовый учебник по языку FORTRAN был проштудирован и поседел на сгибах матерчатой обложки. А белые страницы справочника по библиотечным функциям стали шершавыми и желтыми от перечитывания. Но все пошло.

В результате расчетов выходили несомненные кривые нагрузок. Очень похожие как внешне, так и под лупой строгого частотного анализа на те, что Ромка получал на стенде еще дома, в Южносибирске. Модель работала. И в хорошие дни, заявляясь в вороньих сумерках с ВЦ, Роман часами мог любоваться этой рукотворной красотой. Выуживал из картонной коробки с надписью «GLOBUS Хунгаротэкс» нужный рулончик ленты самописца, сверял параметры опыта с параметрами буквально только-только рассчитанного варианта, разворачи-



вал грязноватый свиток, придавливал его с двух сторон парой талмудов Прохорова – Левенбука к чистенькой, свежайшей распечатке и не мог оторвать глаз. Все пики и провалы были на месте. И не мешали все мыслимые искажения, несоответствия масштабов и проекций, – чудесные мозги математика Подцепы за две секунды выполняли что-то вроде сравнительного экспресс-анализа гармонического состава, и смешные уши героя краснели от детского, неподдельного счастья. Сходится! Сходится! Очень на то похоже.

Но таких счастливых вечеров под желтым световым крылом настольной лампы было не так уж и много этим летом у Романа. Гораздо чаще, приходя с ВЦ, он мрачно швырял очередную распечатку на гору таких же бессмысленных и молча прямо в ботинках заваливался на кровать. Замысловатые кривые трещин разбегались по беленому потолку общажной комнаты, качались, переплетались, свешивались, и их частотный экспресс-анализ не вызывал в душе ничего, кроме неодолимого и яростного желания немедленно закрасить эту гадость, а еще лучше заштриховать и зачернить.

Второй обитатель комнаты, земляк и аспирант-одногодок Боря Катц, был очень этим недоволен. Неснятыми ботинками, естественно. На потолок Боря не смотрел никогда, Боря всегда и неизменно смотрел только вперед, и эти черные несвежие ботинки сорок пятого размера, парившие перед его носом в узком и душном пространстве между углом низкой кровати и дверным косяком, очень смущали Катца. Борис не понимал, как же он сможет обойти это препятствие, на совесть сработанное из кожи и резины в дружественной, братской Советскому Союзу Чехословакии, в случае, ну например, срочного внешнего вызова в коридор или экстренного внутреннего в туалет. Успокаивался Катц, переставал дуться, ерзать и покашливать только тогда, когда топтыгинские клоподавы «Ботас» через четверть-другую часа как будто бы сами собой опадали с безвольных и обесточенных лап Романа. Съехав на пол, черные лапти теряли свой пугающий масштаб, да и вообще, через них можно было просто переступить.

Как переступить через другую, невидимую программную преграду, в отличие от не славившегося особой проницательностью Катца, Роман Подцепа понял довольно быстро. С конца июня он уже щедро наводнял свой остроумный и изящный код глупой икотой, стоп-машина, промежуточной печати. Сначала Роман вываливал только текущие значения расчетных параметров, потом стал выводить аргументы подпрограмм, за ними очень скоро на выход попросились исходные наборы описания геометрии, а в августе Роман с тоскою понял, что должен проследить еще и за тем, как формируется собственно массив нагрузок. Он шинковал чухонскую капусту АЦПУшной бумаги, как полковая кухня, но разжижение операторами `FORMAT` и `PRINT` сухого столбика более деловых фортрановских команд `IF`, `DO` и `CALL` тем не менее не выталкивало на свет божий радужный пузырек какой-то нелепой и смехотворной, судя по всему, ошибки. Росло лишь время расчета варианта. Удваивалось и утраивалось. То, что без печати укладывалось в двадцать пять – тридцать минут, теперь не вписывалось в час. С отладочной печатью Роман просто не успевал досчитать до нужного ему места. Еж следующего пассажира, `EOJ` Никонова или Гитмана, снимал многострадальное, так до конца и не домолотившее задание Подцепы в строгом соответствии с зброй дневного графика распределения драгоценного машинного времени. Нож в горло.

Однако малодушное изъятие команд о выводе всего и вся заканчивалось еще унизительнее. Сбой, если он происходил, случался где-то в самом конце, на вентиле: в какие-то последние финальные мгновения чудесные, красивые, так тщательно и напряженно копившиеся своды данных рушились, массивы переменных вдруг заполнялись какой-то песьей безобразной ересью, и самое позорное, что только может увидеть программист – прерывание из-за деления на ноль, словно пинком под зад заканчивало очередной, короткий вроде бы, сорокаминутный подход. Нет, волшебного пути спасенья не было. Только и исключительно с помощью тупой сплошной печати Роман мог поймать подлый момент крушения любовно собираемой пирамиды расчета, но для этого ему требовалось три или четыре часа непрерывного и

безраздельного владения всей электронно-вычислительной машиной ЕС-1022 Института проблем угля им. Б. Б. Подпрыгина. И больше ничего.

Ночная смена снилась Роману Романовичу. Чего нельзя сказать о Славе Соловейкине. Даже когда Славян уже пилил по широкому и темному коридору ВЦ из прокуренной комнаты дежурной смены в продутый сквозняком кабинет Студенича, он не догадывался, зачем зовут. Если на две недели в Вишневку, на барщину в совхоз, то он согласен, а если на денек окучивать сурепку под Жуковским, когда на следующее утро нужно тверезым на работу, – он, Слава, против. И очередь, тем более, не его. Иван Ильич, совесть имей.

По счастью, на что угодно, но только не на недостаток совестливости мог пожаловаться начальник Вычислительного центра ИПУ имени Б. Б. Подпрыгина Иван Ильич Студенич. В юности студент МИРЭА Ваня Студенич подрабатывал санитаром в морге миляжковской городской больницы и поэтому мог очень легко и в ярких красках представить себе все прелести, как анатомические, так и физиологические, беспечной смены в тифозном свете полуночи. Сознательного, взрослого Студенича, человека примерного трезвого поведения, начинало немедленно мутить как сапожника от чисто спиртового похмелья, стоило ему только подумать о людях, оставленных один на один с обильным и доступным протирочным материалом. К тому же разнополых. Бардак как неизбежная осознанная необходимость, вот что такое ваша ночная смена, мог бы сказать всем так ее домогавшимся Иван Ильич Студенич. Но сказать он этого не мог в виду угрозы немедленно констатации его неполного служебного соответствия. Можно подумать, природа человека могла быть изменена одним отдельно взятым начальником на одном отдельно взятом вычислительном центре. Академическим подкопам под законные устои общего административного порядка и собственного душевного покоя Иван Ильич Студенич всегда и неизменно сопротивлялся до последнего, боролся, а если и был иной раз вынужден отдать на поруганье крепость, то всегда заранее пытался минимизировать грядущий урон общественной морали. Вот, скажем, никогда не ставил в ночную смену людей семейных. Нет, и все. И потому выбор у него частенько был очень ограничен, а то и вовсе отсутствовал. Этим августом в жертву науке Студенич мог принести лишь одного-единственного в штате ВЦ холостого электронщика – разведенного в прошлом году Славу Соловейкина и плюс к нему Ирку Красноперову. Девушку-оператора, на которой женились через день и все подряд, а потому без каких-либо перспектив хоть раз оформить это дело в ЗАГСе.

– Словейкин, – сказал Студенич, когда краснотупый Слава, в разъехавшейся на пузе цветастой рубахе и лесорубских джинсах фабрики «Рабочая одежда», обросших куцей белой бахромой внизу штанин, явился по вызову. – Должок за тобой, товарищ сизокрылый, – хмуро напомнил Студенич.

И Слава понурился. Этим летом Студенич дважды прихватывал Славяна, с тяжелой поправки приходившего на смену. Объяснительные лежали в столе Студенича. Славяну даже показалось, что сквозь оргстекло, голубоватый табель-календарь и тяжелую столешницу проступили большие детские буквы его бестолкового и виноватого лепета. Какая совесть! Сурепка, вот что корячилось. Опять. Со всей первомайской, исполинской неизбежностью нависла над Соловейкиным щекастая колхозная сука. А с нею очередное безводное утро с ушастью черной гирей солнца и третья, третья объяснительная. Порочный круг. Смерть пионерки. Нет, точно выгнать задумал. Задумал выгнать. Падла Ильич, за что?

Когда же угрюмый падла Ильич, не глядя в жалкие кабаньи глазки Славы, кратко и просто объявил:

– Сегодня выйдешь в ночную. Ты и Красноперова, – механический Соловейкин мгновенно стал электрическим.

Сам изумился той быстроте, с которой его безмерное и безразмерное горе все без остатка оформилось, свернулось в четкую, пылающую пульку уставного:

– Есть!

Студенич поморщился от того, что при этом пара капель горячей, подобострастной слюны бякнулась на оргстекло его стола, но ничего не счел нужным добавить. Махнул рукой, и все. Свободен.

Соловейкин же от радости в холодном коридоре с размаху смазал здоровым кулаком по круглому боку огнетушителя. Краснорожий не сдался, остался на крюке, зато бурое мясо Славкиной руки, словно из-под лопнувшей перчатки, проклюнулось кровавыми кляксами на костяшках. И наплевать. Славян готов был расцеловать огнетушитель и того придурка, который пробил ночную смену. Понятно, что весь расчет Студенича на то, что завтра у Славы свободный день. И никакого отгула за ночь не будет, но и не будет больше этих объяснительных. Завяли помидоры. Сурепку съели. Ты мне, а я тебе. Есть совесть на белом свете. Есть.

В девять вечера Слава закончил дневную смену. Сходил домой. Съел две тарелки густых, с мяском на косточке, маминых щей и в половине одиннадцатого двинул обратно, на ВЦ. Все желваки и хрящи могучего Славиного тела играли и хрустели. Еще бы. Сегодня, сегодня он наконец-то, впервые с давних, уже забытых майских праздников, сомнет и обслюнявит что-то женское.

С тощей как мальчик и развратной как жирный старикан Ирккой Красноперовой Студенич разговаривать вообще не стал. Одна лишь только мысль о встрече с этим воло оким существом, пусть даже и официальная, но без свидетелей, да еще в закрытом помещении, пугала спортсмена и семьянина Ивана Ильича до легкого расстройства здоровых функций ЖКТ. Распоряжение начальства девушке передала старшая смены Зинаида Васильевна. Щей, ни горячих, ни холодных, никто ей дома наливать не собирался, поэтому с работы Ирка и не уходила. Добила полкоробки бабаевских конфет, счастливо залежавшихся с позавчерашнего дня рождения Зинаиды Васильевны и не успевших даже по-настоящему заветриться в едкой табачной атмосфере дежурки, залила шоколадно-пралиновую массу ржавым, утренней заварки чаем и к моменту прихода Славы Соловейкина мило сидела у окна, подкрашивая губы и подводя ресницы.

Тут же на месте произведенная инспекция наличного запаса расходных материалов настолько вдохновила Славу, что он готов был стартовать немедленно, но дверь открылась, круглое лицо заказчика сегодняшнего праздника, Р. Подцепы из сектора мат. методов, блеснуло фонариком из тьмы, и Ирка встала. Пошла снимать какое-то левое, неизвестно зачем оставленное системщиками задание. Дурацкий контрольный тест, что-то лениво и вяло печатавший, пару-другую строчек раз в две минуты.

– Мог бы и сам снять, без помощников, – хмуро постановил Славян и для порядка пнул Зинкин железный стул.

Но глупый почему-то плавно не поехал в угол, а тут же и упал. Ничком.

Хороший вечер начинался с легкого раздражения. Причем и с той стороны длинного коридора ВЦ, где Слава прикидывал, что же быстрее свалит Ирку – неразведенный це-аш-три-о-пять или же его менделеевская смесь с водичкой, и с той, где Роман Романович, стоя спиной к «Консулу» и сосредоточенно перекладывая перфокарты, не мог дожидаться, когда же Ирка, наверное от перебора сладкого вдруг ставшая необычайно плавной во всех движениях, закончит наконец простые манипуляции по освобождению рабочего пространства, а равно оперативной памяти и центрального процессора. Но наконец-то закруглилась, сгребла распечатку тестовых результатов и упорхнула, оставив на прощанье еще зачем-то целых двадцать три байта избыточной информации.

– Я буду в дежурке...

Можно подумать, Роман и так не знал, где полагается сидеть девушкам-операторам. Теплым и вялым, но обволакивающим как сливочное масло. Естественно. Но вот чего он точно знать не мог, не мог предвидеть, так это возможность изменения местоположения Ленки Мелехиной. Отталкивающей и во всех смыслах рыжей. Не мог предвидеть возможность ее появле-

ния на ВЦ, тем более в машзале, в начале первого. Ленка числилась второй аспиранткой Прохорова. Первогодок с еще несданными кандидатскими экзаменами. В другой момент и в ином состоянии Рома бы попросту схохмил, прошелся как-нибудь насчет презент континьюс тенза марксистко-ленинской философии, который в это время суток усваивается гораздо лучше, чем правила организации повторяющихся операций на языке Фортран. Само собой. Но после восьмидесяти минут расчета первого варианта, когда всем своим чутким математическим организмом он уже начинал просекать, что исходные параметры неверные, то есть как раз прекрасные, такие, при которых все чисто проходит с печатью или без, Роману было точно не до шуток. Полтора часа коту под хвост. Больше того, вся смена могла уйти в песок. Пропасть совсем, если он перепутал наборы. Если нужные остались в запертом четвертом корпусе ИПУ. Желтые стопки данных. Невероятно. Не может быть. И тем не менее.

Роман стоял и как идиот в сотый раз перебирал перфокарты, рыбьим взглядом лунатика глядел на цифры, надписанные шариковой ручкой над рядом дырочек и не мог, никак не мог понять, как же так вышло. Именно в этот момент открылась дверь машзала, и Ленкин носик быстро втянул болезненный, люминесцентный свет Ромкиного кошмара. Но это был один-единственный короткий вдох, едва лишь глаза двух прохоровских аспирантов встретились, дверь мгновенно захлопнулась, и далее в грудную клетку Ленки Мелехиной поступала лишь только прохлада коридорной темноты. Эмоционально совершенно ничем не подсвеченная.

Конечно. Для полновесности заявки Левенбук включил в список и эту безголовую, и младшего научного сотрудника, москвича Гарика Караулова, все правильно, но это ведь не повод, в самом деле, перелезая в крошечной тьме через ограду режимного учреждения и сквозь собачьи дикие засады рывками идти на свет окон ВЦ. Что она себе вообразила? С кем на одну доску решила встать? Думает ли она вообще, или у нее мозги, как эти безмозглые вохрами прикормленные шавки, точно каким-то дауном сварганенные из развивающего набора юного биолога, уши таксы, хвост овчарки... Бестолковые напрочь. Шавки... Подумав вдруг об институтской охранно-постовой своре, Ромка тут же непроизвольно припомнил, как он сам позавчера заявился в контору ни свет ни заря. Поднятый непонятной пружиной в шесть, он уже в семь тридцать прошел через только что открывшуюся проходную, возле которой во дворе волнами шерстяного моря дышало пыльное собачье отребье. Очень мирное, с полными желудками, на солнышке. Поднялся по улитке лестницы на третий, воткнул ключ в скважину, и дверь сама собой открылась. Незапертая. Посреди комнаты возле его стола синела полomойка с коробочкой его, Ромкиных, перфокарт.

– Пыль вот протираю, – икнула тетка в рабочем халате и поставила коробочку на Ромкин стол. А потом быстро подняла с пола две книги и пристроила тут же рядом.

Елки! Все понятно! Все было на полу. Все. Тетка смахнула толстым задом и книги, и коробочку со сбойными вариантами, и маленький набор любимого контрольного варианта, лежавший здесь же, под аккуратными листами миллиметровки. Ромка еще раз посмотрел на стопочку тоненьких колод, каждая из которых была собрана в единый вариант самоклееным бумажным колечком. Идиот. Ну разве не видно, все как новенькие, всего лишь раз проглоченные перфокартным вводом, и только у одной, у одной-единственной колоды правый обрез слегка подмят и замахрился. Она ходила много, много раз. Тетка смахнула со стола весь левый край, а потом сложила папки к папкам, карты к картам. Как могла. Контрольный вариант к сбойным. О черт. И надо же, чтобы именно этот он вытащил не глядя и тупо первым бараном запустил...

Через два часа нового счета случилось то, ради чего все и было затеяно. Вариант пошел вразнос, и Ромка понял почему. Неверное определение границ двойных массивов, тысячи элементов может не хватать, если по условиям точности сам алгоритм начинает замедлять вращение воображаемого рабочего органа моделируемой машины. Просто притормаживать, снижать

угловую скорость, умножая количество необходимых для расчета точек в разы. В разы.. Ха-ха... Ясность наступила необыкновенная. Как в голове изобретателя таблицы периодических элементов. Все тетрадки в клеточку. Счастливо и, наверное, впервые за все время борьбы с дырочками и лампочками Роман вдруг ощутил себя единым целым с этим миром. Наконец-то. Желанной и необходимой частью машзала, вычислительной машины и стопки желтых перфокарт. Ничто уже теперь не могло нарушить или сломать это новое, возникшее в третьем часу волшебное единство земли, воды и неба. Ни Ленкин рыжий хвост за дальним перфоратором, который Подцепа обнаружил в углу служебной комнаты, когда вбежал, чтобы быстро перебить пару команд, ни белой, подвижной легкой ниточкой выющаяся субстанция девицы-оператора, которую он чуть было не снес на обратном пути в потемках коридора...

– Вам это, по правде...

Роман не дослушал, он залетел в машзал, заменил команды, с какой-то сатанинской уверенностью в себе вытряс едва ли не все операторы отладочной печати, и оказался прав. Через пятьдесят четыре минуты первый, до этого считавшийся мертвым вариант завершился красивым псевдографиком нагрузки. В четыре часа ночи, после того как в машзале на ура прошел и второй из непротыков, Р. Р. Подцепа стал понимать, что ночка, ночка стала поворотной. Удалась, безлунная.

Примерно в это же время на другом конце сумрачного коридора дежурный электронщик В. А. Соловейкин впервые стал подозревать неладное. В сомнамбулической тиши ВЦ ИПУ пути двух особей мужского пола бесповоротно и решительно начали расходиться. Ни це-аштри-о-пять, ни менделеевская, императорская смесь не брала Иркины кости. Бесценный протирочный материал с угрожающей скоростью иссякал, а руку, которой Слава время от времени пытался нащупать пульс в самых разнообразных частях и точках Иркиного тела, щека, плечо, коленка, девица лениво, но однообразно стряхивала.

– Да погоди ты... быстрый какой, – игриво говорила Ирка и в очередной раз удалялась в туалет, такой испорченной, развязной походкой, что Славик тут же в одиночестве накатывал одну сверху.

«Неужели все сблевывает, сучка», – с ненавистью думал Славян, категорически отказываясь признавать за протирочным материалом свойства слабительные или мочегонные. В конце концов он даже решил проверить, что же происходит на самом деле, но до двери в женский сортир не дошел, потому что обнаружил дежурного оператора немедленно, в зоне прямой видимости, в коридоре, и вовсе даже не с парой пролетарских пальцев в ротике, нет, что-то вполне интеллигентно слушающей, а может быть даже и высматривающей в щелочку двери машзала. Правильные выводы из найденного положения предметов в ночном пространстве Слава сделать не смог, потому что его-то самого смесь прозрачного с прозрачным уже расслабила и укачала по всем законам физики и химии. Со всей суровостью которых, Славян, теряя последние крохи терпения, сграбастал еще пока не окончательно размытую во тьме девицу, прижал былинку-стрекозу к стене и начал мусолить. Молния его тверских джинсов разъехалась сама собой, но, как выяснилось, преждевременно...

– Дурак, – сумела пробормотать былинка-стрекоза, когда ее раздавленные Соловейкиным губы на какое-то мгновение освободились, – дурак, отпусти, я же тебя сейчас обсижаю с головы до ног... Дубина стоеросовая...

Слава поверил, и это было роковой ошибкой. После получасового ожидания возле двери в трехочковое отделение он осторожно, большим пальцем ткнул, легонечко толкнул древесно-стружечную преграду. Заперта.

– Эй, – позвал Славян неведомо кого.

Неведомый не отозвался. Лишь быстрой очередью что-то отшлепало АЦПУ в машзале за его спиной.

– Ну, ты, – сказал тогда Славян со всей возможной строгостью.

Ну ты хранило гордое молчание. Гнев совершенно помутил рассудок Соловейкина. И он со всей своей кабаньей мочи бахнул в запертую дверь мохнатым кулачищем, с утра уже травмированным дружеской встречей с пеногонным устройством. От боли взыв, присев и сделав полный оборот вокруг своей оси, Славик все равно не обратился в бегство. Шатаясь, словно языческий неукротимый воин, Соловейкин сделал пару шагов назад, и с криком: «Слушай, Ленинград!» башкой вперед рванулся на таран. Город-герой и на этот раз врагу не сдался. Славик же оказался на полу, что-то розовое заливало его левый глаз, а рот склеился.

За дверью машзала АЦПУ победно полоскало во всю великую ивановскую, звуковой завесой отгораживая Романа Романовича Подцепу от шумовых эффектов безнадежной бытовой драмы. Другое дело перфораторская. Детское цоканье механического дырокола ни в какое сравнение не шло с произведенной Славой штурмовой атакой. Настоящими, мужскими децибелами. Не удивительно, что дверь этой голой и неуютной комнатенки сейчас же распахнулась и на пороге нарисовалась рыжая Ленка Мелехина.

– Блин, – пробормотал совершенно потрясенный Слава. Сначала он просто не понял, как это Ирка умудрилась из сортира перепорхнуть в перфораторскую. Потом он понял, что это и не Ирка вовсе, и от этого изумился еще больше.

– Сиськи, – искренне обрадовался Славик уже вслух. Эстетическое начало дежурного электронщика, волей обстоятельств принужденное всю ночь довольствоваться бесплодным видом палки-копалки Красноперовой, выиграло от неожиданно открывшейся приятной полноценности женских форм, затрепетало флагом.

– Не пушу... не-а... – ласково замычал Славян, при этом всеми четырьмя конечностями довольно энергично начав сучить заре навстречу.

Бедняга не учел, что полнотелость женского тела овеществляют не только железы, но и в некотором смысле мышцы. Мгновенное и быстрое сокращение которых заставило многострадальный огнетушитель, сосуд дня, с крюка легко взлететь, взорлечь в конце концов, и тут же опуститься на поднимавшегося с колен мужчину.

И все это Слава хорошо помнил, видел, только не понял, куда и как вдруг девки улизнули. Он только вытерся, только открыл глаза, поднялся наконец – и ничего. Прямо перед ним была распахнутая дверь женского туалет, а слева – открытая перфораторской. А телок не было. Ни штатной, плоской как доска, ни пришлой, такой фигуристой. Обе стинули. Совсем. Шатаясь и отмечая капельками крови свой трудный путь, Славик проверил перфораторскую, женский сортир с особой тщательностью на три раза, дежурку и даже заглянул в святая святых – машзал, обвел, словно неторопливым вдумчивым клопом исползал, взглядом производственное помещение и горько сообщил товарищу и брату по несчастью Р. Р. Подцепе:

– Твоя тоже смылась.

Роман даже не обернулся. Двадцать минут тому назад он точно так же прореагировал и на Ленкино внезапное вторжение. Никак. Распахнув дверь, рыжая девица с порога позвала его, довольно громко и требовательно: «Подцеп!» – но Ромик не для того сюда пришел, чтобы навязчивой нахалке объяснять, как заправлять в перфоратор карты или ногтем закатывать лишнюю цифру. Он просто не обернулся. Везунок Подцепы сам превратился в счетное устройство. Цельнометаллического робота. От долгой, бесконечно долгой возни с собственной программой, сплошной печатью состояния и выборочной, вся логика фортрановского кода шаг за шагом выстроилась, пропечаталась в круглой голове Романа, синхронизировалась с неторопливой мясорубкой ЕС-1022, и теперь – теперь живой человек и железное устройство шли нога в ногу. Мысль математика Подцепы крутилась со скоростью ЦП в замкнутых пространствах циклов DO, выскакивала на вольные поля определения коэффициентов, с ними в зубах пускалась в недра подпрограмм и функций, а выплыв, немедленно ветвилась по древу операторов выбора IF, весело спеша к парадной колоннаде завершения PRINT-FORMAT. Лишь стоило теперь подумать «сейчас выдаст развертку», и за спиной тотчас же оживало АЦПУ, «а вот тут

пора уже печатать карту углов» и сразу бумага начинала подниматься из лотка, «ну а теперь полезет, полезет наконец и результат, сам график нагрузки, красавчик, зайчик, песенка», – и, словно рота пулеметчиков в последнюю атаку, кидался послушный воле человека рой барабанчиков устройства широкой и быстрой печати. Все получалось, все сходилось, и на дворе светало.

Даже в темный, лишенный окон коридор ВЦ, наваливающееся на землю утро августа вдруг напустило каких-то светлячков. Несвязанных, микроскопических частиц зари. Так, по крайней мере, показалось Славе Соловейкину. Эти предвестники нового неотвратимого дня сейчас же сделали потные мозги дежурного, кучкой опарышей до этого свободно бултыхавшихся в его башке, липким тяжелым холодцом. Куском морозной слизи с редиской горя, запаянной внутри навек. Нет, никогда. Сейчас же выпить, растворить, расплавить. Но не тут-то было. Пропали не только девки. Исчезло и полбутылки протирачного материала. Слава четыре, пять, а может быть, и шесть раз открывал и закрывал дверку тумбочки. Фокус не удался. Пепсикольная чекушка с синим денатуратом томно подмигивала, а початая чебурашечка с бензиновой радугой прозрачной – нет!

Мсть девкам-сукам, воровкам и вообще, была страшна. А выбор замещающего объекта интуитивен и прекрасен. Даже научно обоснован, несмотря на то что ни этим кислым утром, ни через два дня уже в трезвом виде, Славик не мог дать вразумительного объяснения своему богатырскому, несравненному подвигу. Но разве герой обязан снисходить до уровня какого-то начальника ВЦ? Он, сублимируя, попросту действует, как бык-производитель, овейанный решительным серпом и столь же непреклонным молотом. Без колебаний.

И не важно даже, что Слава сам не понял, какого черта он вылетел в коридор, зачем побежал к перфораторской, почему остановился у распахнутой двери женского сортира, но все сомнения дежурного электронщика разрешились, когда из сантехнического полумрака молочным дамским боком вылупилась фаянсовая полуокружье унитаза. На него-то Славян и прыгнул. Двумя ногами. Рассчитанное на паденье в его лона отходов рода человеческого помягче и пожире Славы Соловейкина, большое ухо огня, воды и медных труб не выдержало и расколосось. Прав был Студенич. Прав. Бардак ваша ночная смена, товарищи ученые.

К чести Славика, почти час после своего баянного деяния он пытался скрыть его следы. Поочередно пробуя приклеить отвалившийся флюс толчка конторским клеем и синей изолентой, а потерпев фиаско, в отчаянии просто пытался подпереть фаянсовую щеку обломком швабры. Когда и это не сработало, Славян заплакал, а потом, решив что на миру и смерть красна, забрал из тумбочки в дежурке бутылочку с денатуратом и двинул прямиком в машзал.

– Будешь? – спросил В. А. Соловейкин у Р. Р. Подцепы. – Все девки – суки, – добавил Славик тут же, по-видимому (даже наверное) для возбуждения в коллеге законной жажды и праведного аппетита.

Но Ромик лишь бросил не видящий ничего взгляд через плечо и отвернулся. Отчего раскос его ученых глаз стал уже совсем смешным, но Рома этого, конечно, не заметил. Как раз в этот момент Подцепы жил внутри большущего двухмерного массива. Где-то на уровне восьмьсот третьего двухквартирного элемента. По-русски говоря, в ближайшие десять минут ждал завершения еще одного, предпоследнего на сегодня варианта.

Такой нечеткий отзыв на пароль не слишком понравился Славику. Он даже подумал было о том, чтобы со всею сержантской назидательностью опустить свой кулачище нижней, неповрежденной еще стороной на кумпол не слишком дружелюбного заказчика, но, вспомнив, как намучился уже сегодня с клеем и синей липучкой, когда речь шла всего лишь о простом неживом материале, сложный белковый решил на прочность не испытывать.

– Боишься... – сказал Славян, поразмыслив еще немного. – Мне тоже страшно... – добавил он совсем уже по-свойски, – только шалавы чистый весь забрали.

И, так поделившись бедой с товарищем, Славян потерял к нему всякий интерес. Индюк. Уставился в окно. И хрен с ним. Мне больше достанется. Главное первую взять. Первую. На подготовке к чему, как летчик-космонавт Советского Союза, Славян всецело и полностью сосредоточился.

Взошел он, дернул граммов пятьдесят синюхи из мелкого граненого стаканчика, где-то в шесть десять, когда последний Ромкин вариант затребовал параметры среды. Под свист и шелест перфокартного ввода Славик махнул отраву и прослезился.

– Пошла, – сказал он с тихим и ясным изумлением. – Нормально, типа одеколona... Пить можно.

Но, сделав это открытие, достойное великих диетологов эпохи Чехова и Боборыкина, Славик повторно напиток Р. Р. Подцепе уже не предложил. Жадность его обуяла. Низкое, непохвальное чувство. Он быстро – ночь уходила – набухал еще граммов пятьдесят в восьмиугольную стекляшку и без особых размышлений отправил вдогонку первой порции.

Что стало последней ошибкой этой несчастной ночи с четверга на пятницу. Через минуту после содеянного, без подобающего комментария, просто зажав пасть липкой пятерней, Славян вылетел из машзала. Оставив граммов двести ценного сырья безо всякой охраны в бутылочке из-под пепси-колы, прямо на крышке «бармалея». И рядом пустой, но синевой навеки одухотворенный охотничий стакашек.

Когда около семи Ромик с огромной пачкой бумаги под мышкой, с коробкой перфокарт в руках и чем-то даже в зубах и за ухом, карандашом и папиросой «Беломор», вышел в коридор, весьма недвусмысленные звуки, летевшие из женского туалета, не оставляли сомнения в том, что Славкин желчный пузырь в артели с печенью продолжает упорно и настойчиво трудиться над выработкой естественного клеящего материала. Идти со счастливым грузом за оператором в дежурку Роман не захотел. Как-нибудь сами разберутся, подумал он и двинул прямо вниз по темным лестничным маршам. Лифт на ночь отключался. Свет в лестничной шахте тоже. Поэтому женское тело, упавшее Роману на грудь из темноты где-то в районе между вторым и первым этажом, показалось огромной черной бабочкой. Чистым давлением без веса. Дуновением ветерка.

Впрочем, бабочка, действительно, ничего не весила. Она была мягка и горяча. Единственным холодным и жестким включением в ее небесную материю оказалась початая бутылка со спиртом, которую Ириша Красноперова держала рукой за горлышко.

– Ромочка, – прошептала девушка, прижимая свое узкое лицо к Роминому широкому, а твердую холодную бутылку к его горячему мужскому паху. – Ромочка, возьми меня с собой.

– Не могу, – сказал Роман, отчаянно теряя во тьме последнюю беломорину. – Не могу, – повторил он, лишившись все же папиросы. И затем, уже не в силах, да и не желая придумать лучшей отговорки, на ходу, на лестнице, сейчас, нелепо брякнул: – У меня, заюля, триппер.

Синие очи оператора зажглись в ответ, блеснули чистой звездой, и с тихой нежностью Ириша прошелестела Подцепе прямо в губы:

– И у меня, Ромаша. У меня тоже.



## ПОЛОЧКИ

Всем видам склонения русских слов Боря Катц предпочитал адъективное. Ему нравились прилагательные, отвечающие на краткий вопрос *чей*. Чей, например, сын Роман Подцепы? В сущности, ничей. А чья, скажем, дочь Оля Прохорова? Оля Прохорова – дочь профессора Михаила Васильевича Прохорова. Ольга Михайловна.

Сам Боря Катц, молодой человек военно-полевой, лейтенантской наружности, стройный, смуглый, поджарый, с чертами лица несколько мелковатыми, но зато какой-то фарфорово-фаянсовой правильности, в смысле адъективности мало чем отличался от Романа Подцепы. Во всяком случае, в городе Миляжково Московской области. В городе Южносибирске Южносибирской области Борис Катц был сыном Дины Яковлевны Катц – заведующей научно-технической библиотекой ВостНИИМОГР – Восточного научно-исследовательского института по механизации открытых горных работ. Солидной конторы, занимавшей площадь полтора на полквартиры в южносибирском малоэтажном парковом районе с речным, беззаботным названием Радуга. Что, впрочем, само по себе еще не делало Дину Яковлевну Катц лицом особо значительным. Украшало эту быструю, черноволосую, кукольной конституции женщину вовсе не место, а связь. Устойчивая и многолетняя связь с единственным на весь Южносибирск ученым – героем соцтруда Афанасием Петровичем Загребиним. Директором как раз этого самого института, с нормальной пучеглазой головой, но даже без зачатков столь нужного для равновесия хвоста – ВостНИИМОГР.

Присели однажды за один синий круглый столик в буфете большой и шумной юбилейной конференции Афанасий Петрович Загребин и Антон Васильевич Карпенко, попили кофе «эспрессо», эклерами побаловались, и вот уже Боря Катц, выпускник факультета романо-германской филологии Южносибирского государственного университета становится аспирантом Института проблем угля им. Б. Б. Подпрыгина.

– Тебе же, Лев Нахамович, нужен был полиглот для патентных исследований, – сказал заведующий электромеханическим отделением ИПУ профессор Воропаев своему щеголеватому завлабу Л. Н. Вайсу. – Вот я тебе и нашел такого, немецкий и английский в совершенстве.

– В комплекте или по отдельности? – спросил Лев Вайс, ехидный как сверчок.

– В одном лице, – ответил голубь Воропаев, миролюбивый и добродушный от природы.

Пятидесятилетний д.т.н. очень хорошо понимал сорокалетнего к.т.н. В обратную сторону все тоже сообщалось наилучшим образом.

Так, благодаря всеобщему и полному взаимопониманию, Боря Катц, будучи в глуши сибирской кое-кем, перевалив всего лишь навсего через уральский мелкосопочный водораздел, стал вдруг никем. Чем-то вроде Р. Р. Подцепы. Простым соискателем ученой степени без дома, без рода и без племени.

Здоровым кефирным утром последней августовской субботы, тщательно выбривая у зеркала над сероватой общажной раковиной свои завидные гвардейские щечки, подправляя смоляные жесткие бачки и деликатно прочищая между делом нос, Боря Катц думал о том, что в один прекрасный день, и даже возможно очень, очень скоро все может вдруг перемениться. Уже третий месяц подряд каждую субботу Борис Аркадьевич Катц проводил в компании Олечки Прохоровой. Ольги Михайловны. Дочери профессора.

Педантичный и добросовестный Подцепы, возможно, и тут бы все испортил. Уперся. Занудствуя, по своему обыкновению, наверняка бы отказался считать отрезок дней с мая по август непрерывным, поскольку прекрасно помнил, что три финальные весенние недели этого года его научный руководитель отсутствовал. А значит, с ним и дочь профессора, Оля. По доброй семейной традиции, в сезон блицкрига разбуженного хлорофилла девушка бороздила с отцом лыжные склоны карпатских гор. Плохо быть способным и сообразительным. А еще

хуже математиком и горным инженером. Гораздо лучше – филологом безо всякого специального образования.

Что такого высокохудожественного может выпасть на пол из нечаянно расстегнувшейся кожеимитой папочки Р. Р. Подцепы, выскользнуть и шмякнуться об пол? Томик Прохорова-Левенбука, зеленый и непрыгучий, как осенняя жаба? До смерти надоевшие слова-сороконожки на пупырчатом болотном корешке? Те самые, что вызубрила Оля Прохорова еще до того, как бабушка стала ей показывать детскую азбуку с котом, китом и клоуном-юлой? И это в самом лучшем случае.

А вот из серого индийского портфеля-дипломата Бори Катца, предмета самого по себе роскошного и видного, с ручкой на шарнире и тройкой блестящих барабанчиков секретного запора, однажды выпорхнула в веере тусклых ксерокопий буржуйских патентов книжонка с красным, похожим на отпечаток сапога драконом на обложке. Махнула невестой непропеченных промышленных листов, навеки с ними обрученная шершавой промокашкой титульной и scarлатинной желтизной прочих страниц. «Hobbit or There and back again».

– Оп-па! – сказала Оля Прохорова и цапнула брошюрку, просто молниеносно выдернула у Бори из-под носа, покуда смущенный Б. А. Катц сгребал полуувядшие призраки чужих идей.

– Надо же! Издательство «Просвещение». Ни разу не встречала... – быстро листая добычу, хмыкала и цокала дочка профессора. – Семьдесят пять тысяч... Ого... У себя? В Южносибирске брал?

Катц, зарумянившись, кивнул. Он собирался было пролепетать еще какой-то вздор в том смысле, что это мать ему для общеязыковой практики навялила нудную детсадовскую белиберду про недомерка, но с шустрой Олечкой у Бори просто не было шанса что-то привычно и тупо сморозить невпопад.

– Значит, читаешь... – сказала девушка с легким смешком, – Толкина... адаптированного с просветительскими целями...

– Да, да... – жалко пробормотал бедняга Катц, который, в отличие от быстроглазой Оли, все рассмотревшей и выяснившей за одну секунду, за пару-тройку месяцев так и не удосужился узнать тираж и прочие выходные данные.

Но это сущие мелочи, чепуха в сравнении с главным: Борис не только был не в курсе тиража или того, что вместо полновесного художественного текста наслаждается каким-то кастрированным пособием для языковых вузов, – простое и прекраснейшее чувство сопричастности и то не распирало Катца. Боря не знал, кто автор этого учебного материала, густо заверстанного на жухлой и подкисшей оберточной бумаге. Да-да. Как-то так радикально адаптировало книжечку для языковых вузов издательство «Просвещение», что имя сочинителя с обложки все без остатка стекло в подстрочный комментарий, а с ними Боря не разбирался никогда. Но даже зевни издательство и выдай ему эту страшную учебно-методическую тайну сразу, на месте, Катц и тогда не стал бы выше ростом и не раздался бы слегка в плечах. Толкин-Метелкин. И что? С Борей учился на потоке в университете студент с фамилией Нетелкин, Паша, а может быть и Миша, только он ничего не писал, кроме слезных посланий из погранотряда. Да и то лишь после того, как его выперли на третьем курсе. Короче, пустой звук.

Совсем другое дело Олечка Прохорова, отличница английской спецшколы, взорлившей от невозможно авангардного и без того московского проспекта еще на парочку кварталов выше, взбежавшей по лестнице Кабельных улиц на пятую, последнюю и высшую ступеньку от самого шоссе Энтузиастов. Уж она-то, Олечка прекрасно понимала какой сакральный, недоступный простым смертным смысл должны таить в себе колорадские усики Джи-эР-эР. Этот жучок потешал девицу уже тогда, когда с ним, будто с новым алфавитом, носились московские одно-классники, высокомерные придурки с нелеченной задержкой полового развития, само собой, но вот обнаружить те же рожки да ножки, сочетание трех букв, из которых две одинаковые, у простодырого южносибирского болванчика в портфеле было по-настоящему смешно. Диагноз

доктора был верным. Какая прелесть. За полтора года, предшествовавших этому замечательному дню нагляднейшего подтверждения одной давней догадки, никакого логического обоснования своему существованию Боря Катц не был способен предъявить профессорской дочке.

Ничем не мог юноша развеселить Олечку Прохорову. Ни чайной, сервизной внешностью, ни запахом духов «О'жен», ни той настойчивостью, с какой Борис сопровождал любой акт записи своей куцей, но редкой фамилии обязательным и гордым морфологического свойства комментарием:

– Катц. С буквой «т».

«Без “т”, но с “ы”», – тускло и не в рифму отзывалось в Олечкиной голове. Всего лишь. А тут, совершенно неожиданно, когда, пристыжено принимая из ее рук пособие издательства «Просвещение», Боря потерянно и безнадежно промямлил что-то вроде: «Да я только начал еще... даже не помню... и закладка еще выпала...» Смешной дурачок Катц показался Олечке забавным.

– Черт с ней, с закладкой. Так и так полнейший фуфел. А вот скажи, ты знаешь, где можно купить настоящий? Полный? – сама себе нимало удивляясь, спросила Оля. Впервые в жизни адресовала Б. А. Катцу больше двух синтаксически законченных высказываний сразу.

– Нет, – честно признался Боря.

– Тогда в субботу едем на Качаловку, – легко решила девушка.

Вот как на Борю Катца нежданно и негаданно свалилось счастье. Внимание профессорской дочери. А вместе с ним и новые, внеплановые во всех смыслах, статьи расходов. Начать с того, что Оля предпочитала ездить в Москву автобусом. Это и понятно, железный флажок остановки 346-го «Поселок ВИГА» качался на фонарном столбе буквально у нее за домом. Лишние 15 копеек туда и столько же обратно, практически билет в кино, расстраивали Борю, законного владельца годового железнодорожного проездного «платформа Фонки – платформа Ждановская». Питаясь довольно скромно, не брезгуя килькой в томате и жиром растительным, Боря тем не менее за тридцать дней съедал две трети своей семидесятипятирублевой стипендии. Еще шесть ежемесячно отсасывал единый московский проездной. Без него Борю бы просто разорило катанье через день и каждый раз с парой пересадок на Бережковскую набережную во Всесоюзную патентную библиотеку – ВНПБ. Рубль с него неизбежно лупили на чай в лаборатории. Пару рублей он сам спускал в ближайшем от общаги кинотеатре «Орбита». С учетом подлой способности денег еще как-то хитро утекать сквозь пальцы – лезвия, дезодорант, день рождения соседа, сухой остаток месяца обычно составлял рублей десять-двенадцать. Это неплохо, если бы Боря, например, интересовался пивом или вермутом, но Боря не интересовался. Ни останкинским, ни бадаевским, ни даже «Жигулевским» Новомосковского завода. Боря интересовался немецкими ботинками «Саламандер» за тридцать пять рублей в магазине и за семьдесят за углом в арке. Мама, Дина Яковлевна, понимала и даже поощряла желание сына выглядеть достойно. Она осознавала очень хорошо, что шанс у ее Бори в Москве только один и напрямую связан с его балетным профилем и юнкерской, кадетской выправкой. Но денег все равно сыну не давала. Дина Яковлевна присылала Боре непосредственно вещи, как правило прекрасные, приобретенные в обкомовском распределителе Загребиним. Но эти дорогие импортные шмотки, при всей своей зримой элитарности и малодоступности рядовым гражданам, тем не менее неуловимо, но стойко и противно отдавали ее, маминым, теткинским вкусом. А Боре хотелось чего-то своего. Стыдно сказать, но вот до слез – таких же зимних сапог, как у Подцепы. Остроносых и на высоких, слегка сзади скошенных каблуках.

Им всегда везет, таким вот нетопырям, в серых кримпленовых брюках и толстом свитере домашней вязки, зеленом летом и зимой. Такие не обходят трижды в неделю дозором все обувные отделы в орсторгах и коопторгах, что, как геодезические вехи, своими скромными вывесками ведут внимательного путника от общаги до станции Фонки. Упыри тянут до последнего, пока подошва старых сапог не лопается и от сырой воды носки не начинают вступать в химиче-

скую реакцию соединения с кожей, отчего медвежьи ступни расцветают моржовой серо-зеленой радугой. Но даже после этого, даже нахлюпавшись февральским снегом, упыри не сразу шуруют в магазин, для начала вахлаки прутся в закуток сапожника, и только пристыженные человеком в очках с пружинками заворачивают в первый попавшийся обувной, и из него выносят прелесть, чудо, недостойное ни рук, ни ног слоновьего сословья. И всего! Всего за сорок семь рублей. С ума сойти. Югославские. Во сне Боря иной раз резал кухонным тесаком своего большого соседа Рому, чтоб только завладеть сокровищем. Наяву же идея прикончить чем-нибудь широкоплечего Подцепу теряла всякий смысл и притягательность. С Бориным сороковым сорок шестой Подцепы потребовал бы если не лыжной шапочки, то уж лыжных палок совершенно точно.

Как идиот на ниточке, всю весну и лето таскался Боря в дальний, никоим образом и ни к чему ему дорогу не указывавший обувной на Южной улице и ни разу ничего подобного не видел. На женскую половину, действительно, выбрасывали регулярно что-то приличное, а на мужской лишь парились калоши да скороходовские клоподавы. Сорок семь рубчиков уже скатались и слиплись в секретном отделенье Бориных штанов, а фортуна все не могла определиться. От расстройства и в некотором смысле малодушия в начале июня Борис добавил к сорока семи еще восемь рублей и в промтоварной секции магазина ЖД ОРСа купил замечательный венгерский плащик с подстежкой на замочке. Но радовался он недолго. Не прошло и двух недель, как снова во снах стали являться сапоги. Остроносые со скошенным каблучком. Теперь, правда, не югославские, а чешские. И Боря принял решение. Он постановил не ждать подарков, милостей от своенравной девки-природы, а самому вырвать у нее чистое и ясное в своей простоте житейское счастье. Он накопит девяносто рябчиков, в шесть пересадок покроет сорок с лишком километров от города Миляжково, что на восток от кремлевского меридиана, до универсального магазина «Москва», что на юго-западе, и там, на Ленинском проспекте, подойдет к серенькой, заветренной тетехе, скупающей на лестнице, и просто спросит «сколько».

Может быть, даже сторгуются на восьмидесяти. Почему нет? Во всяком случае, тридцать восемь в заветный карман уже накапало. Сентябрьская стипендия на пару с режимом строгой экономии в употреблении жиров и углеводов обещала в самое ближайшее время довести прелестный положительный баланс уже до кругленьких пятидесяти. Зима была еще далека, а цель – уже верной и осязаемой. Вперед. Ура. В отличном настроении Борек открыл парадное общаги и вышел в субботу просветленный океан подмосковного утра. Червонцы, одна пятерка и трояк, в потайном ситчике, пришитом к изнанке синего денима «Монтана» со стороны правого заднего кармана, грели изящное и очень компактное седалище Б. А. Катца. Зато лицо приятно холодило ветерок скорой встречи с дочкой профессора Прохорова. Олечкой. Такая разница температур обещала стабильное и длительное воспроизводство оптимизма всем организмом молодого человека. Боря шагал уверенно.

Он прошел вдоль скамеек и турников длинного сквера, пересек безымянную улицу, миновал частоконечных шампуров сварной ограды заочного сельскохозяйственного техникума, за годом год ждущих соразмерных суровой массе кусков человечины, и очутился у кованых завитков уже укрощенного, в спирали и кружочки загнутого железа. Художественного навеса автобусной остановки с двойным названием Высшая школа (ВИНИТИ). Большие водонепроницаемые котлы «Слава» на левом запястье Бори Катца показывали ровно десять. Никелированный браслет перемигивался с солнышком, и желтые зайчики нахально лезли прямо в глаза. Оля, конечно, опоздает, и Боря приготовился считать 346-е автобусы. Мелькали они часто. Даже в субботу. Один в семь-десять минут. Появлялись и исчезали, в дивной гармонии с кудрявым солнышком, бодавшимся на небе с рваниной клочковатых туч. По выходным дням перерывы в движении общественного автотранспорта не предусматривались.

Между тем не только Боря, лишенный природой склонности к точным наукам, каждую субботу в одно и тоже время развлекался началами элементарной арифметики. Олечка Прохорова, щедро награжденная склонностью ко всему и сразу, тоже складывала. По тем же простым правилам. Те же самые 346-е автобусы.

Все окна большой, заставленной мебелью, обложенной ворсом и мягким плюшем квартиры профессора Прохорова в академическом поселке ВИГА выходили в тишайший тенистый дворик, и лишь одно на улицу. Окно кухни. Каждую субботу, поглощая сыр, хлеб и кофе за маленьким столиком возле кухонного, нацеленного во внешний мир глаза, Оля считала упущенные ЛиАЗы. Один, второй, третий. А в это время ее мама, Тамара Анатольевна, стоя у плиты, на невидимых счетах откидывала упущенные возможности. Оля считала про себя, Тамара Анатольевна вслух. И результат у мамы с дочерью всегда не бил и не сходился. Как на экзамене.

– Куда ты опять собралась? – спрашивала мама.

– В книжный, – честно отвечала дочь.

– Зачем? Неужели ты еще не все книжки прочитала?

Тамара Анатольевна была очень практичной дамой, а вот ее дочь Оля для девушки неидеальных форм слишком умной и независимой. Такие вот и не дурнушки, и не красавицы, тут плосковато, тут широковато, а здесь торчит некстати, в критические двадцать три уже не читать новые книжки должны, а забывать скорее старые, по разным малоуважительным причинам неосторожно прочитанные ранее. Все, кроме, конечно, «Книги о вкусной и здоровой пище». Уж ей ли, Тамаре Анатольевне, не знать простых законов жизни. Не она ли сама, тут плоско, тут широковато, а тут и вовсе приходилось вечно прикрывать, взяла самого перспективного парня на потоке и двадцать три года с Прохоровым счастлива. Ни одна книжка такого стойкого эффекта не гарантирует.

Особенно расстраивали маму несерьезность дочери, упрямство и инфантилизм в дачный вегетативно-селекционный период. С мая по сентябрь. Вот, например, в этом году к соседу по участку академику Карпенко зачастил на собственных, только что счастливо приобретенных «Жигулях» сын от второго брака Валентин. Молодой человек с прекрасным, лучезарным будущим, который всегда и до сих пор интересовался Олечкой. Мальчишкой упорно пытался утопить Лялю в деревенском озере, а будучи уже старшим преподавателем Горного института – во что бы то ни стало срезать на зачете студентку Прохорову. Тридцать один год – и уже доктор наук. Прекрасная партия. Увы, не составлялась.

– Тупой урод! – как мухобойкой плющился в соплю любой, самый прозрачный и легкокрылый мамин намек.

Урод. Ох-хо-хо. Видела бы Оля собственного папашу девятнадцатилетним. При всем при том, что и машины у него тогда не было, и кафедра, то есть лаборатория, а позже и отделение, в отличие от Валентина Антоновича, так близко и ясно не светили впереди. Да.

«А тупость и вовсе не порок, – думала Тамара Анатольевна, – тупость вообще дело наживное. Было бы желание».

Но желания не было. Наличествовало лишь взлелеенное отцом упрямство и своеволие. Мужчиной бесконечно далеким от понимания женской судьбы и доли. Собственное глубокое понимание и того и другого, как этого и следовало ожидать, частенько одаривало Тамару Анатольевну крайне неприятной чередой подозрений. Маме Оли Прохоровой порой казалось, что ее дурачат. Водят за нос. Пару раз этим летом она даже субботу проводила не в Кратове, а дома. Специально, чтобы засвидетельствовать возвращение дочки из Москвы. Опасения не подтверждались. Оля всякий раз являлась одна, не слишком даже поздно, без запахов ненужных побед и, что всего удивительнее, с книжками. Вот только названия не давались Тамаре Анатольевне. Ни толком прочесть, ни уж тем более понять их она не могла.

– Значит, ты даже вечером не приедешь на электричке? – автоматически, уже безо всякой надежды, в последний раз спросила мама.

– Нет, лучше дома выплусь. А то с твоей козьей молочницей хоть стреляйся в полседьмого.

Серьезный разговор, хотя и собрал пяток ЛиАЗов номер 346 в небольшой, в боях за родину потрепанный автопарк, опять не получился.

Еще через пять минут, затворив одну дверь, плотно пригнанную, квартиры и легко распахнув, откинув другую, висящую на честном слове, подъездную, Олечка Прохорова выпорхнула в воробыный рай субботы. Очередной 346-й был подан без опоздания, и девушка показала вдоль высокого парадного забора Института проблем угля, сложенного, как из мелков, из белых праздничных кирпичей, с неожиданной красной трапецией мишени точно по середине каждой секции. Когда-то контора называлась так же, как и академический поселок – ВИГА, Всесоюзный институт горной академии. В шестьдесят четвертом неожиданно волонтеристки перекрестилась в кого ИПУ, зачем ИПУ, – но с этим в отдельное плавание так и не ушла. Томилинский автобус, 346-й, торя дорогу к Октябрьскому проспекту, все так же неспешно и плавно огибал поселок и институт, как одно неразрывное и лобастое целое. Фигу.

Слегка уже запыхавшийся от долгого ожидания, Боря увидел Олечкин профиль в автобусном окне и, встрепенувшись, словно разбуженная бабочка-капустница, запрыгнул в мелко и призывно вибрирующее нутро ЛиАЗа.

– Ну что, сегодня хапнем что-нибудь тебе? Какие ощущения? – спросила Олечка, когда Борис уселся рядом с ней на тощую подушечка сиденья, приземлился. – Возьмем или же опять ни хуя?

Боря привычно зарумянился, и настроение Олечки, и так не самое плохое, стало совсем замечательным. Суббота обещала не обмануть. Доставить гальваническую радость еженедельной девичьей забавы. Строевых упражнений с бросками по пластунски и чисткой автомата. Олечка давно уже определила, что больше ни на что этот Вася в облики выпускника пажеского корпуса не годен. А еще, буквально в первые же дни знакомства с Борей, Олечка, выпускница не Смольного, а горного института, прилежная и многолетняя читательница двухтомничка с картинками И. Лады, была поражена, нечаянно обнаружив, что юноша стесняется известных слов. И сам никогда не употребляет, и как бы даже пригибается, словно от пули уходя, если из уст кого-нибудь иного, по делу или так, для улучшения теплообмена, вдруг вылетит что-нибудь смачное. Сделав это очаровательное открытие, Олечка, в повседневном обиходе очень хорошо себя контролировавшая, не допускавшая даже случайных оговорок, в компании Бори с неописуемым наслаждением принялась употреблять все то, чем обогатило свой лексикон человечество на долгом пути общественного прогресса.

– Ебенть! – сказала Олечка, нежно наклоняясь совсем близко к Бороному уху. – Возьмем, бля, жопой чувствую, возьмем.

Тут Боря стал совсем пунцовым. Но дело даже не в том, каким высоким слогом Олечка донесла до Катца свой оптимизм и веру в лучшее. Дело в том, что вообще, в принципе, сам Боря предпочел бы именно это самое. Ни хуя. Ну вообще, чтобы ничего они ему сегодня не хапнули, не взяли, не купили. Глубокий колодезный пессимизм предпочел бы Б. А. Катц легкокрылому певцу надежды журавлю.

В самом начале счастливого книжного романа с Олечкой Прохоровой Боря почти не сомневался, что приключенье, так много обещавшее, разорит его дотла. Скрамность ресурсов не даст вкусить плодов победы. Первое же совместное путешествие в столицу разом вынесло из Бороного кошелька семь рублей пятьдесят копеек. Именно столько стоил все тот же «Хоббит», но не на нашей родной, тяжелой как зима подтирочной бумаге, а на легчайшей папиросной «Ballantine Books». Куплен он был не на Качаловке, а в «Академкниге» на улице Горького в букинистическом отделе седовласого альбиноса Яна Яновича. То есть мгновенно. Не успели

Боря и Оля выйти из метро, завернуть в ближайшую по ходу движения дверь, подняться на второй этаж по узкой усадебного вида лестнице, как хоп – Олечкин палец лег на один из книжных корешков, селечным порядком тесно прижатых один к другому под стеклом широкого прилавка. Пропать развезлась перед глазами Бори Катца, когда Олечка поздравив его с почином, задорно сообщила, что семь пятьдесят:

– Почти бесплатно... На Качаловке у двери было бы двенадцать...

Но судьба оказалась милостива. На Качаловке, возле книжного магазина № 79, куда пара миляжковских любителей иноязычной словесности попала, следуя самым коротким путем, по грязноватым коленцам Южинского и Спиридоньевского переулков, через Палашевский рынок и пару проходных дворов, бдительно охраняемых 89-м отделением милиции, Толкина не оказалось. Не было его и в самом магазине. С огромным чувством облегчения и к тому же довольно быстро Боря уяснил, как ему невероятно, несказанно повезло с этим Толкиным-Прополкиным. И в самом деле. Если бы из портфеля на пол выпал какой-нибудь Гарольд Робинс или Vladimir Nabokov, ни о каких новых и красивых предметах кожгалантерии речь бы не шла вообще. Пришлось бы Боре до скончания века пользоваться мылом и бритвенным прибором Р. Р. Подцепы, а по праздникам надевать Ромкины же старые кеды. Бездальним банкротом очень и очень скоро стал бы Боря Катц, а так ничего, держался, даже сбережения имел. Подкапывал. И все потому, что Толкин-Перепелкин, отличный кент, гуманно написал, как оказалось, книжек-то с гулькин нос. Этого самого «Хоббита – туда-сюда», такой же толщины «Сильмариллон» и книгу редкую, как гутенберговская Библия, с названием, похожим на оперу Р. Вагнера. От покойного Бориного отца, кларнетиста областного театра музкомедии Аркадия Моисеевича Катца, в доме Дины Яковлевны осталась преизрядная коллекция старых тяжелых музыкальных дисков, так что названиями произведений Пуччини и Россини Борек владел чуть лучше, чем книжными.

Тем не менее гадский «Сильмариллон» все же попался на дороге. Не пропустили Олечкины сети очередного покета. Случилось это в начале июля, когда Борек уже освоился на Качаловке и в закутке у книжных полок мог на виду у строгих продавщиц очень ловко изображать энтузиаста-книгочея, перебирающего послеобеденные поступления. Беленький карманный «Сильмариллон» Катц выудил сам из общей разношерстной англо-американской шеренги и с похвальным проворством рачительного человека немедленно и незаметно втюхал в норвежско-германскую помойку, в самое чрево умяутов на укороченной соседней угловой стойке.

Не тут-то было. Ровно через две минуты, победно улыбаясь, всевидящая Олечка, рыбац-гроссмейстер, протянула Боре Катцу навеки, уже казалось погребенный в нордических напластованьях томик.

– Ишь чего, – сказала Оля, сладко жмурясь, – смотри, куда заныкала какая-то залупа! Думала, поди, никто не раскопает, пока свалила за деньгами. А вот и хуй!

И, как обычно, румянец на Бориных щеках сигнализировал о том, что он бы как раз этот самый «а вот» и предпочел бы. Но увы. Пришлось Б. Катцу, а не кому-то свалившему на четверть часа отдать пятерку в кассу магазина номер 79 «Иностранная книга». Синюю бумажку. Но все, уже почти два месяца, считая с того трагичного дня, не случалось Боре вынимать ни синих, ни красных казначейских билетов в непосредственной близости от книжных отделов или магазинов. И это радовало. Как ни прост был Боря, но до элементарного, как три копейки, вывода допер самостоятельно и в общем-то с похвальной быстротой. Как только «Кольцо Нибелунгов, или Как там его» будет ушучено и приобретено, закончатся для него субботы с Олечкой. Исчезнет даже шанс не хладный, ироничный ум девицы поразить, а сердце. Сердце дочки профессора, заведующего отделением. Да, например, выхватить ее, зазевавшуюся у края платформы с только что приобретенной невесть за чем книжонкой, прямо из-под железного лобешника стремительно набегающего та ра на-метропоезда. Или, допустим, рвануться вслед хулигану, сорвавшему сумочку с плеча у Оли, опять же увлеченно вынюхивающей что-то между страницами миниатюрного трактата, полчаса тому назад подхваченного тут же, на Кача-

ловке. Догнать мерзавца и толчком в спину повалить на травку скверика у вилки улиц Щусева – Толстого. Боря готов был даже слегка травмироваться на кирпичках обмылка доисторической Москвы, заветренных от времени и небрежения хором, по самые венцы оконных арок вросших в черную землю сквера, на все готов был, чтоб только остаться в исторической, красивой, промтоварной, нынешней, пусть даже и с пропиской в ЛПЗ. Но предпосылки к подвигу все как-то не складывались. Мешали милиционеры и столичное изобилие исправных фонарей. Хотя все те же фонари, московское электричество, создавшее такую негероическую обстановку внутри и вне Садового кольца, могло превратиться из врага Бориса в его союзника. Могло дать ему, подкатить еще один-другой шанс. Как-то так высветить, подчеркнуть молодцеватый профиль Катца, его артиллеристскую красоту и целесообразность, что сердце Олечки даст наконец сбой и выпадет из ее милых рук разумное, доброе, вечное в формате 70x90/32. Но без новеньких сапог на высоком, скошенном под пятку каблуке об этом чуде нельзя было и мечтать.

Изящный и легкий, как полковой адъютант, Боря, был ростиком с четушку. Вровень с невысокой Олечкой. Каких-то полсантиметра его превосходства девушка легко компенсировала и даже перекрывала не слишком даже выдающейся серо-белой манкой летних босоножек. А при обзоре сверху вниз, конечно, Боря смотрелся совсем не так, как надо. Лишь одно время, дни и недели, только они работали на Катца. Август должен был нырнуть в сентябрь, сентябрь в октябрь, а там, стрельнув последнюю десятку у Подцепы, можно уже было самому рвать на Ленинский, в чудесный магазин «Москва». Как много в этом звуке, гораздо больше, чем в бессмысленно слогаобильном – Южносибирск.

В отличие от Бори, готового затянувшийся пассаж до бесконечности скреплять любыми знаками препинания, запятыми, тире и двоеточиями из арсенала родной грамматики, Олечке уже давно хотелось простейшей точки и перехода на новую строку. Но унаследованная тяга к системной стройности любого построения, железной логике начала и конца процесса мешала вот так вот, с бухты-барахты, взять и в произвольном месте подвести черту. И кроме того, все-таки было, имелось и некоторое свое фигурное, змеиное удовольствие в этом чуть подкисшем уже, слегка подгнившем еженедельном контакте с краснеющим и заикающимся Катцем. Все же не часто, не каждый день попадались Олечке молодые люди, готовые так долго и главное безропотно сносить ее безжалостный, пацанский нрав, даже среди любителей Джи-ЭР-ЭР Толкина. Неразвитых совсем.

А паузу, утомительное ожидание прихода «Lord of the Rings», каким-нибудь американцем забытого в гостинице «Националь» или индийцем в самолете Москва – Калькутта, грессбуха, за ветхостью на свалку списанного из библиотеки британского посольства или сновья попертого из папиной библиотеки сыном руководящего работника «Совтрактор-экспорта», что только в невод Качаловки не шло, как только не приплывало в «Академкнигу», лишь дайте время, – эту долгую паузу, скучное ожидание добычи Олечка Прохорова заполняла вивисекцией. В добром согласии с русской академической традицией, буквально павловской, дразнила собак кошками, а кошек собаками. Пугала Борю Катца предложением в случае неудачи махнуть на Птичий рынок.

– Чего? – втолковывала Оля Боре в своей несносной как угри казарменной манере. – Какого хера? Раз книжка не дается, надо тебе в натуре кого-то с волосатыми ногами. Для продолжения поступательного развития личности в выбранном направлении. А хули, в рот компот? Нельзя останавливаться на достигнутом, Борис. Надо преодолевать препятствия на пути к цели. Бороться. Ибать-копать, я тебе дело говорю, Катц. Все, пиздарика. Сегодня, если не подцепим тебе «Властелина», поедем на Птичку, купим перса или сиамоучку. Будешь пока на них тренироваться.

Все в Боре тут же холодело и обмякало. И без того неяркий свет его разума буквально захлебывался, мерк на мгновение в Бориной башке из-за произвольных черных мыслей, во-первых, о стоимости перса, а во-вторых, о том, как Боря будет вынужден животное, перенос-



чика глистов и блох, топить в общажном унитазе. Чистюля Катц просто не представлял себе, как это сделать, не замарав или не замочив руки.

Впрочем, сегодня, в последнюю субботу августа, Олечка к тихой, заячьей радости Бориса не слишком уж и усердствовала в исследовании условных рефлексов прямоходящих мелкопитающихся. Так, лишь для проформы, подразнила подопытное существо морскою свинкой, и все. Большую часть дороги коллеги промолчали. Слишком долго мама сегодня дрессировала саму Олечку. Слюну выманивала. Девушка не просто задержалась, она по-настоящему опоздала. Ведь смысла являться на Качаловку после двенадцати просто никакого. Все то, что будет принесено в портфелях и сумках к дверям букинистического магазина номер семьдесят девять «Иностранная книга» к открытию, к одиннадцати часам, не для того, чтобы идеологически безукоризненно грамотная приемщица дары отвергла, а для того, чтобы, заветного порога не пересекая, пусть шахер-махер, с оглядками, зато без малейших формальностей и подозрений сменить одного идеологически нестойкого владельца на другого, вся эта подлинная роскошь уйдет бесследно до половины первого. Толкин-Метелкин, идеологически нейтральный, быть может, и останется. Хотя и это маловероятно. Но, в любом случае, он Олечку совсем не интересовал.

Борю, доподлинно известно, тоже. Но это было тайной страшнее секрета того, зачем иные люди светлым утром выходного дня являются точно к открытию советского книжного магазина. Ее не должна была знать ни одна душа, кроме, конечно, собственно Бориной. И он старался.

В эту августовскую субботу из-за потерянного получаса, а то и полных сорока пяти минут Олечка сурово и безжалостно перекроила привычную схему движения. Заход в «Академкнигу», где новые поступления выкладывали с утра, а не после обеда, был отменен. Пусть пропадают сокровища Яна. Сегодня, по крайней мере. Пропустив станцию «Пушкинская», Оля и Боря проследовали дальше, до «Баррикадной». Здесь они птичками, прыг-скок, ускорились на пустом субботнем эскалаторе и так, заранее набрав хороший ход, буквально пульками вошли в коктейль наземных ароматов дня. С первых шагов пару вела вывеска кинотеатра «Пламя», но возле газетного киоска, уткнувшись в мостовую, Оля и Боря дружно повернули влево. По стрелке «к планетарию». Целую минуту съело ожидание у зебры на Садово-Кудринской, но наконец свет перещелкнулся, и снова сработала праща, башкой вперед послав двух обитателей Миляжково к желто-оранжевой штукатурке бывшего мингрельского, а ныне турецкого посольства. Еще три полных оборота секундной стрелки – и от ворот полномочного представительства республики Лаос, на траверзе улицы Наташи Качуевской, взору открылись два долгожданных собрания. Пара-тройка людей у входа в магазин, просеиватели случайных сдаччиков, и основные силы – напротив, через улицу. Десятка полтора людей, сидящих на низкой каменной оградке маленького скверика или просто стоящих возле нее, как будто в ожидании маршрутки.

Здесь Боре наконец была дарована свобода. То, что по-настоящему интересовало Олечку, не могло появиться на полках магазина номер семьдесят девять в принципе, поэтому девушка без промедления пересекла неширокую проезжую часть улицы Качалова и окунулась в группу граждан, ждущих прибытия общественного транспорта. А Боря быстренько, с глаз долой, юркнул в глухую пещеру магазина. Толкин-Светелкин, в отличие от книг издательства «Olympria Press», вполне и даже очень просто мог обнаружиться на полке книжного. Это Борис учитывал, и поэтому первым делом отправился к стойке англоязычного худлита.

У веревочки потела небольшая очередь желающих порыться на самих полках. Боря не стал присоединяться к жаждущим непосредственного контакта с печатным словом. С этой стороны прилавка он быстро обозрел сегодняшней ассортимент и, не обнаружив ничего подозрительно среди там и сям выступавших не очень многочисленных толстых корешков, перевел наконец дыхание. Совершенно уже успокоившись, Катц бросил последний контрольный взгляд

на англо-американский стеллаж и перешел к соседнему прилавку. «Книги по искусству на всех языках». Вот это место, этот тихий, несуетливый уголок Качаловки Боря действительно любил. Тут, и только тут он мог мечтать и предаваться дивным грезам.

«Chagall» – 350 рублей. Беленький бумажный ценник одним крылышком попал под доску переплета в блестящем многоцветном супере, зато другим – свободно и даже гордо реял на глянце отливающими буквами «Ch». «Modigliani» – 270. Смотри, за так. «Bosch» – 420. Hieronymus. Можно понять, в три раза толще. Да.

«Боже мой», – думал Борис. Даже если допустить немыслимое, вообразить, что из всех этих дохлых пыльных патентов, неизвестно зачем складываемых его научным руководителем к. т. н. Вайсом, может вдруг сложиться диссертационная работа и Боря ее составит и даже защитит, лет через восемь, десять или пятнадцать, получит затем старшего научного, главой взметнется выше облаков, добьется всего-всего, что только можно добиться в этой жизни упорством и трудом, даже тогда его зарплаты, денежного довольствия в 250 ежемесячных рублей, будет недостаточно для приобретения всего лишь одного-единственного, самого тонкого из всех, альбома издательства «Abrams».

А между тем, эти альбомы не лежали на витрине неприкасаемыми экспонатами из Государственного Эрмитажа. Их покупали. Или вот собирались купить у Бори прямо на глазах. Немолодая пара вальяжно и неторопливо листала самую большую, самую дорогую из всех амбарных книг. Том Иеронимуса Босха. Седой мужчина с перстнем на мизинце и дама с удивительно белыми, словно каким-нибудь алмазным раствором протравленными пальцами не суетились, они подолгу рассматривали цветные развороты, негромко переговаривались, улыбались. Время от времени прохладной волной над красочными площадями проплывала рука, а в такт ей волной душистой покачивались головы, и по тому, с каким почтением обычно неморгающий, негнувшийся продавец сам нежно и сладко вибрировал среди этих легчайших колебаний воздуха, как благосклонно, даже благоговейно дышал, не оставалось никаких сомнений – перед Борисом не гопка любителей на шару лапать нежный глянец, а самые настоящие покупатели.

«Боже мой, – думал Катц, готовясь вот-вот узреть в одной руке сразу пять сотенных билетов. – Интересно, какого возраста у них, у этих людей, младшая любимая дочь? Или внучка от старшего, допустим, сына?»

Может быть у дамы сейчас упадет на пол батистовый платочек и Боря его стремительно поднимет? Или квитанция, чрезвычайной важности записка, вдруг выскользнет из черного бумажника седого джентльмена прямо под ноги Боре? Почему нет, и не такие повороты подстраивает жизнь, известно...

– Катц, – счастливо свистнули у Бори за спиной, и чья-то рука легко, как прошлогодний сухостой, метелку, развернула замечтавшегося было молодого человека лицом к себе. – Танцуй, братан, – сказала Олечка и повела приятеля на улицу.

Справа у двери, возле кудрявой рогатины старого дерева скучал плешивый тип в темных очках «капелька». Его рыжий дешевенький портфель покоился на круглом, захватанном руками металлическом поручне, и потому простого, незатейливого толчка ласковой Олиной ладошки оказалось вполне достаточно для того, чтобы нос Катца уткнулся в распахнутое ему навстречу третьесортное писчебумажное нутро. «The Lord of the Rings». Del Rey.

– Просил сначала сороковник, – пропела Олечка Боре в чистое ухо, – но я умяла на тридцать пять.

Боре показалось на какое-то мгновение, что легкие его расправились раз и навсегда, зато мочевого пузырь стал резко и тревожно сокращаться. Однако ужас и хруст крушения идиллии, потери права на Олечкину компанию, надежды покорить ее однажды каблучками и этот гнусный, похабный говорок сменить на нежный, человеческий – треск и распад лестницы в небо был легкой музычкой в сравнении с суровой дробью, неумолимым барабанным боем несущейся

гося, как паровоз, летящего на Катца унижения. Какой невысказанно позорный заключительный аккорд! Сейчас при всех, как бузина, колхозник, лепясь задницей к штукатурке, раскорячив ноги, изогнув спину и вывернув ладонь, Боря должен будет запустить руку в штаны, и там ногтями отдирает цветастый ситец... Нет, лучше умереть...

– Я... – прошептал Катц, – того... деньги забыл дома...

– Елы, – глядя в померкшие глаза Борька, быстро проговорила Оля. – Ты чего, родной? Не надо так расстраиваться. До, блядь, позеленения. Не бзди, Чапаев, не пугай людей, у меня как раз остался сороковник. В понедельник отдашь.

Еще через секунду талмуд уже был в деревянных, бескровных, скрюченных, кривых руках Катца.

– Поздравляю, – вполне искренне сказала Оля.

Потом она взяла из рук паралитика счастливое приобретение и быстро начала листать. Перед глазами замелькали буквицы, потом карты, потом руны.

– Славно, – два раза повторила девушка, а затем, совсем по-свойски ткнув кулачком между лопаток счастливого везунка Катца, добавила: – Давай, в общем, наслаждайся, а мне сегодня надо оторваться.

Она взглянула на тусклый циферблат своих электрических часиков и быстро зашагала по Качалова в сторону Кинотеатра повторного фильма.

Первым желаньем Бори было естественное. Сейчас же зайди в магазин и сдать Толкина приемщице. Вернуть хотя бы рублей двадцать пять. Но он не посмел. Второй раз соблазн посетил Бориса на улице Горького у входа в «Академкнигу». И вновь он не решился. Кто знал, куда оторвалась Олечка и не столкнется ли он с ней сейчас прямо нос к носу. Постояв нерешительно, минуту-другую у входа в метро, на верхней ступеньке, в мире, где при наличии воли можно было, еще было можно обменять подарок судьбы на деньги, Боря, в виду отсутствия таковой, в виду текущего неутешительного, перекрученного состояния внутреннего стержня, покачнулся и начал спускаться, вглубь, в темноту того мира, где от книги уже нельзя было избавиться никак, вообще, даже, подобно кошке, сунув ее башкой в несвежий с рождения унитаз.

Так Боря и ехал через весь город, а потом и пригород, держа в руках с каждым километром все непристойнее разбухавший и тяжелевший иноязычный том, чем привлекал, конечно, ненужное внимание общественности. Увы, в отличие от арктически совершенного Яна Яновича, даже в самом магазине на Качаловке, что уж тут говорить о левых продавцах, не имели обыкновения заворачивать книги в бандерольную, непрозрачную бумагу. Но Боря никакого неудобства от этой своей неписанности в социум сегодня не испытывал. В его тело сегодня можно было легко и безболезненно вводить железные булавки, иголки, отвертку, шило, а уж косыми взглядами прохаживаться, скользить лишь по поверхности, да сколько угодно и вовсе без малейшего шанса на ответную реакцию.

А вывел мозг Катца из опасного, сопредельного с началом полного распада оцепенения только его всегда здоровый желудок. После полуторачасового неподвижного пребывания уже на общажной кровати, все с тем же Толкиным-Располкиным на коленях, подложечка Бориса довольно требовательно соснув и даже кольнув слегка, царапнув, вывела его простреленный во всех местах организм из забытья, двенадцатиперстие строго напомнило: «Не жрато, однако, с самого утра». С девяти, а сейчас уже шестой час.

Тут только голова с офицерским отважным профилем включилась и тихо, со стоном, радировала в левую половину собственной брюшной полости: «А нечего». В горе и отупении от накрывшего его несчастья Боря не только не посетил свой любимый гастроном на Большой Бронной, – сойдя с электрички в Фонках, он также глупо провлачил мимо скромного, но тоже уважаемого орсовского продуктового. Даже в угловой, вшивый молочный возле самой общаги Боря и то не заглянул. И теперь, теперь в субботней сомнамбулической тишине очищенных к вечерней зорьке прилавков миляжковской периферии даже за хлебным батоном,

банкой салата из морской капусты надо было ехать в центр города, на остановку «Горсовет», за пять копеек в одну сторону.

И от одной мысли об этом мужество, оставившее Борю, казалось, навсегда, вернулось к юноше. Он рывком встал и за спиной, на кровати оставив наконец подлую жирную книгу, шагнул целенаправленно, осознанно в угол к холодильнику, открыл холодное и безнадежно пустое чрево, решительно выдвинул поддон из-под морозильника, извлек кусман завернутого в полиэтилен подцеповского, Ромкиного сала, его недельную отмеренную пайку, ножом оттяпал две желтые соленые полоски с самого края, порубил каждую на белые пальчики и затем начал, сопя и задыхаясь, засовывать себе один за другим в рот. Пхать, как говорят, на исторической родине продукта.

## ПАПКА

О необязательности профессора Прохорова в институте ходили легенды. Настолько многообразные, правдоподобные и всегда свежие, что достоверности в них было, как легкой фракции в дедушкиной бражке. Процентов восемь-десять. Примерно столько же, сколько в историях о перманентном процессе бракосочетания с разнообразным младшим медперсоналом, сестричками и санитарками самого директора ИПУ, члена-корреспондента АН СССР Антона Васильевича Карпенко или же в злых и остроумных байках о патологической любви заведующего электромеханическим отделением ИПУ профессора Вениамина Константиновича Воропаева к самой интеллигентной из всех шоферских игр – домино.

И тем не менее факт остается фактом – Михаил Васильевич, не склонный бросать хлеб недоеденным, в роли первого оппонента вполне и даже запросто мог заставить целый ученый совет париться полтора часа. Ждать его, профессора Прохорова, куковать всем кворумом, лишь только потому, что на полигоне в Мячкове из-за сбоя с электропитанием никак не получалось дорезать очередной углецементный блок. Одна идея не давала покоя профессору уже дней пять, и он собирался покончить с ней в машине по дороге домой. По этой-то простой причине уезжать без свеженьких, специально для него заряженных осциллограммных лент Михаил Васильевич ни в коем случае не собирался.

Отчего на этот раз профессор мог опоздать или вовсе не явиться на встречу с собственным аспирантом Романом Подцепой, заранее известно, конечно, не было. Букет причин и поводов всегда благоухал разнообразием и непредсказуемостью. Звонок из Гипроуглемаша или нечаянное столкновение в институтском палисаде с заводским разрушения угля и пород Моисеем Зальмановичем Райхельсоном. Обмен новостями или тут же вспыхнувший ученый спор. Все, что угодно – огнеопасный хворост и ломкий, сухой травостой мог поджигать, потрескивая от готовности, буквально за любым углом. Профессор Прохоров зажигался махом. Молниеносно. Это был человек вдохновения. Зато его косоватый аспирант, обстоятельный и неторопливый математик Роман Подцепа, законно и заслуженно мог претендовать на звание самого планового элемента всей плановой экономики Союза Советских Социалистических Республик. И вовсе не удивительно, что всякое соприкосновение со всепобеждающей стихийностью научного руководителя оставляло ощущение некоторого дискомфорта в Ромкином математически правильном организме, даже легкого головокружения. Иногда это странное и непривычное чувство было исключительно приятным, даже незабываемым. Например, два с половиной года тому назад, когда сразу после доклада на молодежной секции научно-практического форума в актовом зале ЮИВОГ – Южносибирского института вопросов горной отрасли к Ромику подошел московский профессор и предложил место в аспирантуре. Но гораздо чаще внезапный и внеочередной выход из расчетной колеи раздражал, а то и натурально злил Романа Романовича.

– А, вот кто мне нужен, – вчера, в дверях архива ученого совета на четвертом этаже главного корпуса ИПУ, куда редкая муха долетает и уж совсем никогда бескрылое твердое тело, профессор Прохоров буквально сцапал своими маленькими, аккуратными, но по-спортивному шершавыми ладошками Ромкину большую и мягкую пятерню. Поймал по ходу быстрого движения аспиранта, не вовремя сунувшегося в коридор.

– Очень, очень хорошо. Алексей мне тут все уши прожужжал про ваши подвиги, давайте-ка завтра в одиннадцать, хотя нет, погодите, погодите, в двенадцать тридцать, да, в час приносите все ко мне, будем смотреть.

Конечно, нормальный человек должен был обрадоваться и даже, может быть, запеть. Оказывается, Левенбук не просто так заглядывал в Ромкины распечатки и миллиметровки последние дни. Не от скуки обсуждал чудесные, один к одному ложившиеся результаты всех послед-

них расчетов. Ромкин алгоритм вычисления реальных нагрузок заработал. Заработал, и это невозможно было отрицать, более того, об этом нельзя было не сообщить выше. Туда, где уже благовонный борщевой лавр увивал лестничную колоннаду горной науки. Но Рома не запел, хотя и голос у него был неплохой, и слух. Роман Подцепа расстроился.

Увы, так уж получилось, некоторые вещи он планировал на короткую дневную перспективу, некоторые намечал сделать в недельном интервале, но было и то, неотменяемое, что Рома столбил за год, за триста шестьдесят пять дней до предполагаемого события. Он был терпелив, как рыбка в банке. Слоник в шкафу. Он мог и умел ждать. Час, два, четыре или двенадцать. В любой день сентября, тринадцатого или пятнадцатого, никаких проблем. Шестнадцатого и двадцать пятого, пожалуйста, но только не четырнадцатого.

Четырнадцатого сентября тысяча девятьсот восемьдесят второго года, в день, когда окошки аэрофлотовских касс, как бегунки на логарифмической линейке элементарной системы предварительных продаж, все дружно, разом открывали двадцать восьмое сентября, Роман Подцепа должен был на первой послеобеденной электричке ехать от платформы Фонки по направлению к Быково. Утречком быстренько оттарabasить на ВЦ пару новых вариантов – и лететь. Пока пусть фигурально выражаясь, но за билетом на самолет. На вечерний рейс Москва – Южносибирск, вылетающий из аэропорта Внуково двадцать восьмого сентября в двадцать один час тридцать минут и прибывающий в Южносибирск утром двадцать девятого в шесть сорок пять.

Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково. Четверть часа солнечным зайчиком по зеленым откосам полосы отчуждения. Столько же солнечными часами, черной, минуты медленно урезающей тенью на сером асфальте. Полтора километра от ж/д Быково до авиа. Пусть даже час, не академический, а полновесный астрономический, в кассовом зале, но в любом случае, в начале третьего снова небо над головой и ветер целенаправленного, целеустремленного движения. Теперь с востока на запад. С аэрофлотовским билетом в кармане. Платформа Быково – платформа Фонки. И столь же стремительный пеший, кленовый финишный бросок. Улица Электрификации – 1-й Фонковский проезд. Не позднее трех тридцати Роман Подцепа обязан был вернуться в сектор. В ИПУ. Все складывалось, и оставалась совсем смешная малость. Дождаться, когда сблевет последний из коллег, утащит хрящи художественные и не – портфель и уши, чтобы уже в нежно мерцающей тишине с пользой сторевавшего дня позвонить домой, в Южносибирск. Туда, где время всегда правофланговое, всегда впереди на четыре часа, смирно ли, вольно ли, туда, где уже укладываются спать, где уже гасят свет, но все равно с надеждой, с верой, что телефон еще проснется, еще зальется до всеобщего отбоя химической междугородней трелью. Ромка должен был успеть сказать Южносибирску главное «спокойной ночи» года: «Дима, сынок, ну все, папа купил билет. Тебе что привезти?»

Таким простым и ясным было расписание дня на четырнадцатое сентября тысяча девятьсот восемьдесят второго. Сверкало медью выбитой таблички целый год до вчерашней нечаянной встречи на сплюснутом от вечной неполноценности и скудости осветительных приборов, четвертом этаже главного корпуса ИПУ. Дурацкая экономия.

– В двенадцать тридцать, в час... – прощаясь с Ромой, профессор щедро сорил вариантами. И каждый последующий расстраивал Р. Р. Подцепу еще больше предыдущего. Во всех случаях первая послеобеденная электричка отменялась. Да и вторая тоже. Даже, если подобно девичьему счастью, профессор явится в свой кабинет с самой минимальной из всех возможных задержек, ну скажем в три по полудню, раньше семи или восьми вечера билета у Ромки не будет. Аэрофлотовского проездного документа с сигарообразным контуром ТУ-104 на фоне волнообразных облаков. А это значит, даже за деньги, даже из душного пенальчика аэропортовского телефона-автомата позвонить домой уже не получится. Носишко ночи, по-буратины удлиняясь, проткнул волшебную холстину и стал опять коротким – вышел в завтра. Марина с Димкой уже спят.

План сорван. Нарушен, искажен, три раза перечеркнут, снабжен дурацким *sic* и нотабене на полях. Неаккуратность, грязь, небрежность, которые Роман так не любил. Он любил, когда все без помарок, в папочках, коробочках, на полочках, чин-чинарем, одно за другим и в плановом порядке. Вот почему настроение Р. Р. Подцепы легко и просто можно было испортить. Влезть в душу, где все как на чертежном ватмане – линия к линии, влезть в сапогах и наследить. И на страже этой идеальной, правильной и маркой внутренней картинки стояло всего-то ничего – довольно грубоватое, босяцкое, дворового разлива чувство юмора. Косоватый увалень Роман Подцепы считался хамоватым малым лет с шестнадцати, с тех пор как из комнаты, в которой была всего-навсего одна кровать, а за ширмой материнский диванчик, он попал в многоподушечный казарменный покой Физико-математической школы при Новосибирском государственном университете. Осенью семидесятого. После того, как весной того же года прикатил из своего шахтерского Кольчугина и занял первое место на областной олимпиаде в городе Южносибирске.

– Подцепы, поплывешь с нами в субботу на острова? – интересовались с дальней кровати в левом ряду.

– Есть одна вакансия, – торопливо соблазнял уже сосед, сопевший на расстоянии протянутой руки, – девчонки шестиместную резиновую лодку где-то надыбали.

– Нет, – отвечал Подцепы, – шестиместная резина – это не мой размер. Мой – номер два.

В субботу Роман ехал в город провожать маму, Ольгу Дмитриевну. Две недели тому назад она приехала на краткосрочные курсы усовершенствования врачей, а теперь вот уезжала домой, в Кольчугино. Чемодан на нем, на Роме. Но разве он обязан кому-то это объяснять? Не обязан. Ни тогда, ни сейчас.

Одна беда и незадача – профессору Прохорову так просто не наладишь саечку и не ответишь щелбанов, не отошьешь светило горной науки.

– А, вот кто мне нужен...

«Ошибаетесь, Михаил Васильевич, вам нужен компас и бинокль. Чтобы ориентироваться на местности и с командирского второго не залетать вот так шальной пулей в рабоче-крестьянскую трубу четвертого».

Увы. Шутилка даже не включалась, не зажигалась вовсе при встрече с научным руководителем, а значит, Михаил Васильевич мог сделать со своим аспирантом Р. Р. Подцепой буквально все и, главное, в любой момент. Во всяком случае, запросто то, что редко кому удавалось в ФЭМЭШа. Михаил Васильевич Прохоров мог поломать, расстроить, изменить Ромкины планы. Совсем простые, как орешек.

Роман Романович Подцепы хотел, чтобы у него все было по-людски. Ромкина мать, врач районной поликлиники, всю жизнь прожила одна. В маленькой комнате под лестницей на первом этаже черного бревенчатого барака. Выбежишь на улицу – и осенят тебя не Бетельгейзе с Арктуром, а красная звездочка на закопченной вышке шахтного копра. На этой шахте, им. С. М. Кирова, когда-то работал Ромкин отец, но от него не осталось ничего, кроме вибрирующего по ночам, как сломанный водопровод, словечка «працювати».

– Ага? Пошел, поехал, значит, працювати, – с какой-то невыразимой, неподражаемой смесью презрения и безнадежности резала Ромкина мама, если вдруг кто-нибудь из соседок, знакомых заходил пожаловаться на некрасивые проделки мужика.

Когда Ромке было два года, его отец, такой же точно, Роман Романович Подцепы, уехал в Горловку на месяц, к родителям «пошукать», посмотреть как там они устроились после затянувшейся на десять с лишним лет эвакуации, уехал и не вернулся. Стал працювати. До побачення.

До собачення. Нет. Ромкин сын, Дима, никогда в жизни не услышит это горловое, зобное «пр-цю-пр-цю». Как будто кто-то кого-то подманивает в ночи. Гусенка или крысу. Зовет, да не тебя. Не будет Ромкин сын гадать на печной гуще зимней ночи, гадать и отворачиваться к

стенке. Избавлен. Его отец, Роман Романович даже не второй, а третий, третий Роман Романович, еще мальчишкой решил, что у него самого все будет не так и по-другому. По-людски. Решил и потому сына называл не Ромкой, как простодушно предлагала наивная жена Маринка, а Димой. Дмитрий Романович Подцепа. Все начал заново. По плану и по уму.

Как и положено косому математику, Р. Р. Подцепа-третий непоколебимо и свято верил в исполнимость предначертаний, разумно, логически обоснованных построений. Задач и планов. Его парадоксальные решения, так поражавшие порой окружающих, всегда и неизменно диктовались самыми простыми и прагматическими соображениями. Не зря же с детства, столько, сколько себя Подцепа помнил, путеводной у него была не звездочка на небе – как сахар, сиюминутная, дождик слизнул – и нет. Совсем другое. Пятиконечный, в небо вставленный, вколоченный чугун-чигирь на воробыиной балке промышленного сооружения.

Первый кандидат на единственное место мэнэса в институте прикладной механики, Роман Романович Подцепа после окончания университета во время распределения выбрал не Академгородок, а ЮИВОГ. Южносибирский институт вопросов горной отрасли – заштат двоечника. Выбрал по одной простой причине: молодым семейным специалистам предоставлялась квартира. Выбрал – и не ошибся. Сын Дима родился в отдельной однокомнатной на улице Красноармейская. Двадцать девятого сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого.

Совсем маленького Диму Ромка носил на руках. Как свежий нарезной батон. От Красноармейской до Притомской набережной. Шел поздним бабьим летом между цыганских платочков, пятнистых шалей субботних бульваров. У парапета сажился на длинную скамейку и читал вполголоса в пуховое одеяльце завернутой колбасе капитальный труд Прохорова – Левенбука «Стохастические процессы в приводах горных машин». Часа через два, выпавшись, пришла Маринка, и от тихого неудержимого смеха делалась румяной.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.